

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПРОЗА НЕКРАСОВА

Практика подготовки академического полного собрания сочинений писателя-классика предполагает включение свода всех сохранившихся его писем, обычно завершающего издание. При этом эпистолярные документы располагаются в хронологической последовательности (в ряде случаев предположительной), когда в одном ряду оказываются весьма разнородные тексты: письма, тематически и стилистически приближающиеся к художественным произведениям, предваряющие их или соотносящиеся с ними; письма, адресованные избранному кругу лиц, предполагающие перечитывание, обсуждение, становящиеся фактом литературной жизни, хотя и не предназначенные для печати; ^[1] письма, в которых говорится об отношениях с близкими людьми, тех или иных событиях личной жизни, содержащие интимные признания; наконец, письменные распоряжения, просьбы бытового характера — вплоть до визитных карточек с приписками-приглашениями.

Документы личного характера могут оказаться полезными для биографов писателя и историков культуры, однако особую ценность представляют, естественно, те письма, где речь идет об эстетических и общественных позициях, творческих и мировоззренческих исканиях. Возможность появления писем с высокой концентрацией мысли и чувства зависит прежде всего от адресатов, на понимание и сочувствие которых вправе рассчитывать пишущий.

Среди дошедших до нас писем Некрасова относительно невелико количество тех, в которых он, обычно сдержанный и немногословный, позволял себе говорить о собственном душевном состоянии, о том, что было дорого и ценно для него, творческих проблемах, сомнениях и колебаниях. Писем Некрасова — редактора, журналиста, издателя, организатора значительно больше, чем писем Некрасова-поэта. Многие безвозвратно утрачено, в сохранившихся документах духовная эволюция автора нашла лишь частичное, фрагментарное отражение.

Самое раннее из известных писем Некрасова — письмо от 9 ноября 1840 г. (п. 1) — стоит особняком: во-первых, это единственное сохранившееся письмо старшей сестре Елизавете, духовно близкому человеку, о ранней смерти которой (в 1842 г.) Некрасов писал как о событии, «чуть не убившем» его (см. п. 10); во-вторых, это единственное письмо Некрасова — юного поэта-романтика, страдающего от одиночества, упрекающего себя в увлечении «пустой суетностью», — письмо-исповедь, в котором риторика приглушает живое чувство, а проза перемежается стихами.

Затем, по мере того как литературная работа становится профессией и основным источником средств существования, литературность формы становится неприемлемой в письмах к близким: риторичность представляется уже несовместимой с искренностью, доверительностью. Из немногих сохранившихся писем начала 1840-х годов только в письмах к сестре Анне Некрасов позволяет себе писать о личном — тяготах повседневного труда («несмотря на болезнь, я принуждаю себя к работе» — п. 10), неприязненном отношении к отцу, которого он обвиняет в эгоистическом равнодушии к детям (п. 10, 15), отвечает с некоторым вызовом на упреки тех, кто готов его осудить за отказ от чиновничьей карьеры («Отечество наше велико и обильно, и чиновников в нем без меня очень много. Скажут, что я до сей поры безумствую, потому что у меня нет никакого чина, — да что кому до этого за дело?..» — п. 15).

С начала 1840-х годов, когда началась работа под руководством Ф. А. Кони в «Литературной газете» и «Пантеоне русского и всех европейских театров», в письмах Некрасова все большее место занимают литературно-организационные вопросы: составление очередных номеров газеты, журнала, альманаха, отношения с авторами и издателями. Письма 1841 г. к Ф. А. Кони — это отчеты о выполненной работе (компоновка очередных номеров, чтение корректур, написание обзоров новостей и т. п.), просьбы о присылке денег («мне ужасно нужны деньги» — п. 3), оправдания в ответ на высказанные упреки (п. 4).

С 1845 г., когда Некрасов становится издателем нескольких имевших успех литературных альманахов («Физиология Петербурга», «Первое апреля», «Петербургский сборник»), а затем

(с конца 1846 г.) руководителем «Современника», его письма, адресованные деловым партнерам, сотрудникам, приглашаемым участникам, обычно сдержанны, конкретны: это письма организатора, несущего ответственность за свое предприятие, создающего его общественную значимость, преодолевающего многочисленные препятствия на пути реализации замысла (материальные и цензурные), настаивающего на исполнении другими взятых ими на себя обязательств (в частности, соблюдении сроков исполнения работы) и т. д. В такого рода переписке часто не оставалось времени для чего бы то ни было, не имеющего непосредственного отношения к делу. Так, оправдываясь перед Тургеневым (находившимся в Париже) за продолжительное молчание, Некрасов писал ему 9 января 1850 г.: «... честью Вас уверяю, что я, чтоб составить 1-ю книжку, прочел до 800 писанных листов разных статей, прочел 60-т корректурных листов (из коих пошло в дело только 35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), раз в рукописи и другой раз уже в наборе, переделывал еще несколько статей в корректурах, наконец, написал полсотни писем, был каждый день, кроме лихорадки, болен еще злостью, разлитием желчи и проч.» (п. 110).

2

Лишь иногда и по отношению к немногим духовно близким людям Некрасов решался быть вполне откровенным, говоря о себе. Это прежде всего Тургенев и В. П. Боткин. Обращения на «ты» появляются у Некрасова в письмах Тургеневу с 1852 г., Боткину — с 1853 г. Потрясенный известием о смерти Т. Н. Грановского, Некрасов писал Боткину 8 октября 1855 г.: «В деятельности писателя не последнюю роль играет так называемое духовное сродство, которое существует между людьми, служащими одному делу, одним убеждением. Иногда у изнемогающего духом писателя, в минуты сомнения, борьбы с соблазном, в самых муках творчества встает в душе вопрос: да стоит ли мне истязать себя? Если и добьюсь чего-нибудь путного, кто оценит мой труд? Кто поймет, чего мне это стоило? Кто будет ему сочувствовать?

Так, по крайней мере, бывало со мной. Смешно приводить в пример себя, но я пишу, чтоб проверить мое чувство чувством другого. И в эти минуты к кому с любовью, с верой обращалась мысль моя? К тебе, к Тургеневу, к Грановскому» (п. 232).

О том же писал и Боткин Некрасову: «... в наших душах лежит одинаковое чувство искусства, — помимо всяких дружеских отношений и взаимных влияний личности. А это случается редко (...) Чувство искусства глубоко связано со всеми нашими самыми существенными чувствами; это эссенция всех наших задушевных инстинктов, верований и понятий, это цвет и запах всей природы человека. Вот почему я так рад одинаковости моего впечатления с твоим» (19 сентября 1855 г.); «Житье с тобою избаловало меня. Этот постоянный обмен всего, что проходит по душе, эта угадка всякой, еще не сформировавшейся мысли, всякого чувства, не находящего себе выражения, — ах, какое это счастье!» (27 ноября 1855 г).^[2] Годом позже, 25 ноября (7 декабря) 1856 г., Некрасов писал Тургеневу о Боткине: «Никто не умеет быть так неумолимо умен, как он, когда захочет, т. е. когда найдет на него охота говорить правду» (п. 275).

«Духовное сродство» для Некрасова означало не столько мировоззренческую, идейную близость, сколько способность и готовность понимания личности другого человека, его индивидуального склада, в котором могут оказаться взаимообусловленными самые противоречивые черты. «Узнав тебя, я так полюбил, что в моем сердце ничего, кроме самого нежного чувства, не может никогда быть к тебе, — обращался Некрасов к Боткину. — Ты и Тургенев еще и тем мне милы и дороги, что только вы знаете меня и умели понять, что во мне было всегда два человека — один официальный, вечно бьющийся с жизнью и ее темными силами, а другой такой, каким создала меня природа. Этого-то второго человека, я убежден, ты любишь во мне и ценишь, и за то тебе спасибо» (п. 268). Предполагая послать Тургеневу на отзыв свое новое произведение (поэму «Несчастные»), Некрасов писал ему 25 ноября (7 декабря) 1856 г.: «Я — ты не откажешь мне в этом — дошел в отношении к тебе до той высоты любви и веры, что говаривал тебе самую задушевную мою правду о тебе. Заплати мне тем же. Пусть не стоит перед тобой призраком моя нетерпимость и -раздражительность, которую я иногда обнаруживал при твоих замечаниях. Правда, я не легко отказываюсь от того, что признавал истинным и хорошим, но это не от слепоты самолюбия — дельное слово гвоздем забивается в мою голову, — но мне надо убедиться, чтоб отказаться от своего» (п. 275). И

позднее: «Милый Тургенев, право, я тебя очень люблю — в счастливые мои минуты особенно убеждаюсь в этом» (п. 288). Только Тургеневу можно было писать о собственных мучительных сомнениях и попытках обрести душевное равновесие: «Жить для себя не всякий день хочется и стоит (с какой-то ноги встанешь с постели) — тогда приходит вопрос: зачем же жить? Поживем для того, чтоб хоть когда-нибудь кому-нибудь было полегче жить, — отвечает какой-то голос, очень самолюбивый голос! Но когда он молчит, когда нет этой веры, тогда плюешь на все, начиная с самого себя. Ах, милый мой Тургенев, как мне понравились твои слова: „Наше последнее слово еще не сказано” — не за веру, которая в них заключается и которая может обмануть, а за готовность жить для других. С этой готовностью, конечно, сделаешь что-нибудь» (п. 274).

Однако откровенность, даже в обращении к самым близким людям, давалась Некрасову нелегко, и особенно в тех случаях, когда хотелось высказать в полной мере свое восхищение талантом. Так, Некрасов признавался Тургеневу: «Для меня лучшее доказательство, что я тебя люблю, заключается в том, что я почти вовсе лишен способности хвалить тебе в глаза твои сочинения и очень склонен умалять перед тобой их цену в надежде поджечь тебя на что-нибудь лучшее. Это так. Всякий любит по-своему» (п. 213); «Русский характер, или мой лично, странно устроен, — когда твоя всегда милая для меня личность со всем своим влиянием на идущее сменить нас поколение стоит передо мной (а это часто бывает), кажется, сказал бы тебе много, а станешь говорить или писать — того гляди, слетит с языка злостная закорючка, а доброе слово мрет на языке или зачеркивается» (п. 276). Оказывалось, что откровенность в большей степени возможна в стихах и критических статьях, чем в личном общении: «... ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе, — вдруг, словно спохватившись, пишет Некрасов Тургеневу во втором постскриптуме к письму от 26 марта (27 апреля) 1856 г. — И ты один из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию. Написал бы тебе об этом больше, но опять проклятая мысль — не принял бы ты этого за пустую любезность! (...) Нет, просто мне надо написать статью о твоих повестях, — тогда я буду свободнее — я буду писать не для тебя, а для публики, и, может быть, скажу что-нибудь, что тебе раскроет самого себя как писателя: это самое важное дело критики, да где мастер на него?» (п. 292).

3

Третьим человеком, в переписке с которым Некрасов мог высказывать сокровеннейшие свои мысли, оказался Л. Н. Толстой, отношения с которым складывались нелегко. Молодой писатель восхищает его своим талантом и в то же время возмущает эпатажной односторонностью суждений, резкостью и нетерпимостью. «Что это за милый человек, а уж какой умница! (...) Милый, энергичный, благородный юноша — сокол!., а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. (...) Мне он очень понравился» (п. 236); «... какую (...) чушь нес он у меня вчера за обедом! Черт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант!» (п. 243); «Милый Толстой! Как журналист, я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится» (п. 252); «Что сказать о Толстом, право не знаю. Прежде всего он самолюбив и неспособен иметь убеждение — упрямство не замена самостоятельности; потом ему еще хочется играть роль повыше своей (...) Какого нового направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста?» (п. 278). В отношениях с Толстым Некрасов чувствует себя старшим, более опытным, более зрелым, способным поддержать и направить. Борясь за Толстого как за сотрудника «Современника», художника и личность, он стремится во что бы то ни стало преодолеть барьер отчуждения и решается отбросить дипломатическую осторожность суждений. Некрасов говорит Толстому о своем восхищении им и вере в него, но и предостерегает его об опасностях: «Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того, что с большою частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России (...) Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко» (п. 222); «На мои глаза, в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости.

Признаюсь, я лично люблю такие характеры, и для меня самая дикая крайность, самое безобразное упорство (в данную минуту) лучше апатического „как угодно” или трусливого „сам не знаю” (...) Я не шутил и не лгал, когда говорил когда-то, что люблю Вас, а второе: я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже многое сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных» (п. 269).

Не боясь быть непонятым, заподозренным в фальши, Некрасов отвечает Толстому 31 марта (1 апреля) 1857 г. на полученное с опозданием в полгода письмо и развивает перед ним намеченную ранее в письме Тургеневу (п. 274) важнейшую для себя самую мысль о спасительном обретении смысла жизни в сближении с людьми, деятельной любви — может быть, чувствуя, что эта нравственная позиция органически близка Толстому: «... прежде всего выговариваю себе право, может быть, иногда на рутинный и даже фальшивый звук, на фразу, то есть буду говорить без оглядки, как только и возможно говорить искренно. Не напишешь, ни за что не напишешь правды, как только начнешь взвешивать слова: советую и Вам давать себе эту свободу, когда Вам вздумается показать свою правду другому. Что за нужда, что другой ее поймает — то есть фразу, — лишь бы она сказалась искренно — этим-то путем и скажется ему та доля правды, которую мы щепетильно припрятываем и без которой остальное является в другом свете (...) перехожу прямо к Вашему желанию, высказанному в письме, „чтоб наша переписка сделала нас серьезно друзьями”. И я этого хочу всем сердцем (...) Для меня человек, о котором я думаю, что он меня любит, — теперь всё в нем моя радость и моя нравственная поддержка. Мысль, что заболит другое сердце, может меня остановить от безумного или жестокого поступка — я это говорю по опыту; мысль, что есть другая душа, которая поскорбит или порадует за меня, наполняет мое сердце тихой отрадой, — может быть, от равнодушия к жизни, но, верите ли? я чувствую, что для такой души я не в состоянии пожалеть своей, и одна мысль о возможности этого подвига наполняет меня таким наслаждением, какого ничто в жизни уже мне не может дать». И здесь, поднявшись до почти невыносимой для себя степени искренности, Некрасов прерывает письмо, не без колебаний решается перечитать его на следующий день, сухо резюмирует: «Результат предыдущего тот, что дружба, как всякое счастье, дается нелегко. Однако позволительно и должно искать этого, как всякого другого законного счастья. Теперь я совсем в другом настроении — продолжать начатого не могу», — и с горечью замечает: «Рутина лицемерия и рутинная ирония губят в нас простоту и искренность. Вам, верно, случалось, говоря или пиша, беспрестанно думать: не смеется ли слушатель? Так что ж? Надо давать пинка этой мысли каждый раз, как она явится. Всё это мелочное самолюбие. Ну, если и посмеются, если даже заподозрят в лицемерии, в фразе — экая беда! Мы создаем себе какой-то призрак — страшилище, который безотчетно мешает нам быть самими собою, убивает нашу моральную свободу» (п. 293). Получив ответное письмо и убедившись во внимании и сочувствии Толстого, Некрасов продолжает начатое месяцем раньше, почти исповедуясь перед ним: «Хандра и грусть у человека в Вашем положении, мне кажется, может быть только, когда у него нет цели в жизни. Ближайшая цель, труд, у Вас есть, но цель труда? Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к сущ(ествованию) других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнееешь, светлееешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука (...) Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь». Высказанное было прежде всего исповедью, а не поучением или советом, потому что далее Некрасов писал о мучительности собственного душевного состояния: «Гоню дурные мысли и попеременно чувствую себя то хорошим человеком, то очень дрянным. В первом состоянии мне легко — я стою выше тех обид жизни, тех кровных уязвлений, которым подверглось мое самолюбие, охотно и искренно прощаю, кротко мирюсь с мыслью о невозможности личного счастья; во втором я мученик, и мученик, недостойный сожаления,

начиная с моего собственного; от мелкой раздражительности до готовности воткнуть нож в свое или другое чье-нибудь горло — я всё переживаю. Легко сказать — зачем же это? Хуже всего человеку, когда у него нет сил ни подняться, ни совершенно упасть! Я, кажется, в этом положении, но злость приходит все реже, реже — если в ней нет законности, она уляжется, но — но мне надо сделаться очень, очень хорошим человеком, чтоб многое в прошедшем меня не замучило или не привело к чему-нибудь дикому. Делать ничего не могу, нет спокойствия и душевной свободы» (п. 295). Чрезвычайно личные, доверительные письма Некрасова Боткину, Тургеневу и Толстому середины 1850-х гг. (особенно написанные в период относительной свободы и досуга заграничного путешествия 1856—1857 гг.) временами поднимались до уровня психологической художественной прозы. Однако в конце 1850-х годов вместе с усложнением и напряжением личных отношений эта насыщенная мыслями и чувствами переписка начинает постепенно ослабевать, и к 1861 г. окончательно прерывается. Идейные разногласия приводят к разрыву личных отношений.

4

Некрасовым был избран последовательно демократический курс «Современника», выразителями позиции журнала (и общественной, и эстетической) становятся Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, что означало разрыв с ближайшими друзьями — крупнейшими русскими писателями. В письме Тургеневу от 15 января 1861 г., оказавшемся прощальным, Некрасов подтверждал бесповоротность своего выбора: «... поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Черн(ышевский) и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), — сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх». И все же в этом письме присутствует смутная надежда на то, что дружба может оказаться сильнее разногласий и обид: «Я никогда ничего не имел против тебя, не имею и не могу иметь, разве припомнить то, что некогда любовь моя к тебе доходила до того, что я злился и был с тобою груб. Это было очень давно, и ты, кажется, понял это. Не могу думать, чтоб ты сердился на меня за то, что в „Современ(нике)“ появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться (...) уверен, что тебя не развели бы с „Соврем(енником)“ и вещи более резкие о тебе собственно (...) ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип (...) я хочу некоторого света относительно самого себя (...) это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне» (п. 386).

Сохранившиеся письма Некрасова к Добролюбову свидетельствуют о том, что между ними существовали отношения не только тесного делового сотрудничества и идейной близости, но и личной доверительности (см., например, письма от 18 июля 1860 г. и 1 января 1861 г., написанные Некрасовым в период заграничной поездки Добролюбова, — п. 398 и 412). Вскоре, однако, и эти отношения обрываются: в ноябре 1861 г. Добролюбов умирает. В июле 1862 г. арестован Чернышевский. Утраченные связи оказываются невозможными. Тоска одиночества и боль утраты отразились в стихах (среди них, в частности, «... одинокий, потерянный...» (1860), «Скоро стану добычею тленья..» (1876)). Продолжающаяся со множеством лиц переписка носит по преимуществу деловой и бытовой характер.

Из всех адресатов Некрасова одно из первых мест по количеству сохранившихся эпистолярных единиц (около двух сотен) занимают записки и письма к В. М. Лазаревскому — влиятельному чиновнику, члену Совета Главного управления по делам печати. Писались они на протяжении шести лет (с осени 1868 г. по осень 1874 г.) и были в основной массе бережно сохранены адресатом. Некрасова и Лазаревского сближала прежде всего страсть к охоте, хотя у Некрасова-журналиста было несомненно немало оснований дорожить этим полезным для дела знакомством. Наиболее близкими эти отношения были, по-видимому, в 1869 г., когда Некрасов обращался к Лазаревскому: «многолюбимый друг», «глубокочитимый и любимый друг», «многочтимый и крепко любимый», — неизменно, впрочем, обращаясь «на Вы». В сущности это не дружба, а приятельство, неоднократно омрачавшееся то бытовыми конфликтами (споры из-за совместного использования охотничьих угодий), то, по-видимому, идейными разногласиями (август— сентябрь 1871 г., январь 1874 г. и, наконец, сентябрь 1874 г., когда разрыв стал неизбежным). Но тем не менее именно в письме Лазаревскому от 29 июля (10 августа) 1869 г. из Дьепа у Некрасова, обрадованного улучшением здоровья после отдыха

на море, вырвалось признание: «... я о себе был всегда такого мнения, что всё могу выдержать. Из сего можете усмотреть, как мало было у человека самолюбия, но надо быть самоуверенным до тупости, иначе ничего на этом свете не сделаешь. Я это сознаю теперь, когда начинаю терять это милое качество. Жаль, что нет у меня детей, я бы их так воспитал, что не испугались бы никакой стихии! Гордость и самоуверенность даже при глупости ничего, а при уме это прибавка трех четвертей силы. Русские люди до нищеты бедны этими качествами». Восстановление физических и душевных сил, по-видимому, способствовало откровенности, потому что через две недели, 13 (25) августа 1869 г., Некрасов писал о себе и сестре Анне: «Человеку не легче, что он иногда сам себе создает беду и сознает свою глупость, — я отчасти находился в таком положении, а теперь, кажется, отошло или понемногу отходит. Я привык заставлять себя поступать по разуму, очень люблю свободу — всякую и в том числе сердечную, да горе в том, что по натуре я злосчастный Сердечкин. Прежде всё сходило с рук (и с сердца) как-то легче, а теперь трудновато приходится иной раз. Пора иная, старость подходит, надо брать предосторожности даже против самого себя, а то, пожалуй, так завязнешь, что не выскочишь».

В последнее десятилетие жизни самыми близкими для Некрасова людьми (состоявшими с ним в переписке) оставались сестра А. А. Буткевич и ее гражданский муж А. Н. Ераков. К Еракову Некрасов обращался (в письме от 10 августа 1874 г.) так: «Милый мой и единственный друг Александр Николаевич». Удрученный неприязнью сестры к Ф. А. Викторовой (Зине), он писал А. А. Буткевич 30 октября 1874 г.: «Моя усталая и больная голова привыкла на тебе, на тебе единственно во всем мире, останавливаться с мыслью о бескорыстном участии, и я желаю сохранить это за собой на остаток жизни».

5

Собственно поэзия в известных нам письмах Некрасова — одного из крупнейших русских поэтов — занимает относительно небольшое место. Редки высказывания о собственных произведениях. Чаще всего это краткие сообщения, как например в письме Боткину от 26 марта 1856 г.: «В последнее время я написал еще несколько стихотворений — и много отрывков из поэмы (самая поэма еще не написана). Всё это, кажется, недурно» (п. 247). Значительно реже — осторожная предварительная оценка в надежде на откровенный отзыв близкого человека. Таково, в частности, упоминание о работе над новой поэмой («Несчастные») в письмах Тургеневу от 25 ноября (7 декабря) и 6 (18) декабря 1856 г.: «Скажи мне, пожалуйста, правду. Это для меня важно (...) хочу знать, надо ли и стоит ли продолжать?»; «Не знаю, буду ли в состоянии кончить работу, в которую думал вылить всю мою душу (...) Признаюсь, она (поэма. — Ред.) мне нравится» (п. 275, 277). Иногда это попутные пояснения собственного замысла, данные в связи с возникшими цензурными препятствиями, как например суждения о героях поэм «Несчастные» и «Дедушка» в письме В. М. Лазаревскому от 9—10 апреля 1872 г.

Стихотворные включения в текстах писем также нечасты. Это сообщение новых стихотворений, предполагаемых к печати (см. п. 167, 212, 257, 263, 311), в том числе завершённые произведения, звучащие в письме как личное обращение к конкретному адресату («Возвращение» («И здесь душа унынием объята...») в письме В. А. Панаеву в середине августа 1864 г.; «Не рыдай так безумно над ним...» в письме М. А. Маркович от 7 августа 1868 г.), поэтические послания, являющиеся завершёнными произведениями («М. Е. С(алтыкову) (При отъезде его за границу)» в письме П. В. Анненкову от 27 апреля 1875 г.), не предназначенные для печати экспромты узколичного характера (стихи на отъезд Е. О. Лихачевой в Швейцарию «Уезжая в страну равноправную...» в письме А. Н. Еракову от 25 июня (7 июля) 1873 г.) или по своей экспрессии выходящие за пределы возможного в печати («Наконец из Кенигсберга...» в письме к М. Н. Лонгинову от 1 июля 1857 г., стихотворная брань в адрес цензора В. Я. Фукса в письме В. М. Лазаревскому от 5—6 (17—18) июля 1875 г.). Наконец, изредка появляются стихи, тесно связанные с текстом данного письма.

После раннего «романтического» послания сестре Елизавете 9 ноября 1840 г. стихотворное выражение собственных чувств в письмах Некрасова встречается очень редко: вероятно, в «литературности» ему виделась опасность фальши, в которой мог бы заподозрить его адресат. Но иногда все же оказывалось, что в письме близкому человеку чувство могло быть выражено точнее всего именно стихом. Так, в конце письма Тургеневу от 6 октября 1854

г. Некрасов иронически замечает о риторических штампах: «Что еще сказать тебе? За эту фразой обыкновенно в письмах следует что-нибудь более или менее нежное — интимное — и я не отстану», — затем рассказывает о приключившемся с ним анекдотическом происшествии интимного свойства, и лишь затем следует горькое признание, переходящее в стихи: «Добрый годик вышел мне нынче, как бы черт его скорее взял! Боюсь, что он меня дорезет, а впрочем, всё вздор:

Ничего! гони во все лопатки,
Труден путь, да легок конь,
Дожигай последние остатки
Жизни, брошенной в огонь!»

(п. 195). Или появляются вдруг в письме Тургеневу от 9 (21)—17(29) октября 1856 г. отдельные стихотворные строки — не то цитаты из незавершенного произведения, не то отдельные стихи, вокруг которых могла бы начаться кристаллизация поэтического замысла: «Рим мне тем больше нравится, чем более живу в нем — ия твержу про себя припев к несуществующей песенке:

Зачем я не попал сюда
Здоровей и моложе?

(...) Зачем я сюда приехал?

Чтоб больше жизни стало жаль...

По наклонности к хандре и романтизму иногда раздражаюсь здесь от бесчисленных памятников человеческого безумия, которые вижу на каждом шагу. Тысячи тысяч раз поруганная, распятая добродетель (или найди лучшее слово) и тысячи тысяч раз увенчанное зло — плохая порука, чтоб человек поумнел в будущем» (п. 274).

И значительно позднее в письме к брату Федору от 26 февраля 1873 г. замечает: «... дела идут недурно, и кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! человек, живя, изнашивается, как платье; каждый день то по шву прореха, то пуговица потеряется.

И не много уже остается
Что возможно еще потерять...

А там и ноги протягивай, и к этой мысли надлежит приучать себя заблаговременно. Эх! с ноября пошло мне на шестой десяток!»

Значительный интерес представляют содержащиеся в письмах Некрасова суждения о литературном творчестве, оценки тех или иных авторов и их произведений, замечания о реакции публики на литературные новинки и цензурных препятствиях. Емкие и точные характеристики присутствуют прежде всего в письмах к духовно близким людям, единомышленникам. Например, в письме Тургеневу от 30 июня— 1 июля 1855 г.: «Перечел всего Жуковского (...) нельзя не заметить, что многие послания и некоторые Лицейские Годовщины Пушкина вышли прямо из посланий Жуковского; Пушкин брал у него — иную мысль, мотив и даже иногда выражение!» (п. 212). Тургеневу о Гоголе: «Больно подумать, что частные уродливости этого характера для многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе, и талант, положим, свой во многом изнасилывал, но каково самоотвержение! (...) это благородная и в русском мире самая гуманная личность — надо желать, чтоб по стопам его шли молодые писатели в России. А молодые-то наши писатели более склонны идти по стопам Авдеева.

Грустно!» (п. 217). Боткину о Тургеневе в связи с его работой над романом «Рудин»: «... это человек, способный дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни» (п. 236).

В отношении одного и того же литератора позитивные оценки могут чередоваться с негативными, что вызвано не переменчивостью Некрасова, а непрерывным развитием и углублением мысли. Несомненно хорошее в одном отношении может оказаться недостаточным в другом. Так, Некрасов высоко оценивает статьи А. В. Дружинина о Пушкине, опубликованные в «Библиотеке для чтения», и пишет ему 6 августа 1855 г.: «Они достойны человека, о котором писаны (...) В них виден не только знаток и мастер дела, но и благородно мыслящий человек — качество столь редкое в теперешних авторах, т. е. в их писаниях» (п. 216). И месяцем позднее, 16 сентября 1855 г., пишет Боткину в связи с негативной оценкой Дружининым «молодого литературного направления», следующего за Гоголем: «... Друж(инин) просто врет и врет безнадежно (...) Дарования всегда разделялись и будут разделяться на два рода: одни колоссы, рисующие человека так, что рисунок делается понятен и удивителен каждому без отношения к месту и времени (таковы Шекспир, пожалуй, отчасти наш Пушкин и т(ому) под(обные)), другие: которые не могут иначе понять и изображать человека, как в данной обстановке и т. д. — и как рыба может жить только в воде, так эти другие, то есть их таланты, могут проявлять жизнь, давать плод только под условиями известных качеств воздуха, которым дышат они. (...) Мне кажется, в этом деле верна одна только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству... Эту теорию оправдали многие великие мира сего...» (п. 225). Еще более резко отзывается Некрасов о «дружининском направлении», способном «отоспать от журнала все живое в нарождающемся поколении», в письме Тургеневу от 18 (30) декабря 1856 г. (п. 278). И вместе с тем высоко оценивается редакционная работа Дружинина: «Вы молодецки повели дело (...) Вы можете везти продолжительно, ровно и притом красиво» (п. 287). Некрасов жалуется Тургеневу 27 июля 1857 г. на принципиальное невнимание Чернышевского к массовой печатной продукции: «Чернышевский малый дельный и полезный, но крайне односторонний, — что-то вроде если не ненависти, то презрения питает он к легкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности. Бездна выходит книг, книжонок, новых журналов, спекулирующих на публику, — обо всем этом не говорится в журнале ни слова! Не думаю, чтоб это было хорошо. Ведь публика едва ли много поумнела со времен Бел(инского), который умел ее учить и вразумлять по поводу пустой брошюры» (п. 311). А через несколько лет, в письме Добролюбову от 3 апреля 1861 г., Некрасов замечает о Чернышевском: «Нельзя его не любить; и вот что: репутация его растет не по дням а по часам — ход ее напоминает Белинского, только в больших размерах» (п. 418).

Представляют значительный интерес нечасто встречающиеся в письмах Некрасова суждения о литературном труде, эстетической и идейной позиции писателя. Например, 22 июля 1856 г. он пишет Толстому: «Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину» (п. 261). В другом письме Толстому от 5 (17) мая 1857 г. читаем: «Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками. Из того времени я вынес убеждение, что нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досажаю, когда встречаю фразу „нет слов выразить” и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да еще вот что: надо иметь веры в ум и проницательность другого по крайней мере столько же, сколько в собственные. Недостаток этой веры иногда бессознательно мешает писателю высказываться и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему лень, разумеется, потворствует» (п. 295).

Некоторые из некрасовских писем представляют собой оправдательные документы. Таковы, в частности, мучительно тяжелые для Некрасова объяснения с Герценом в 1857 г. относительно задержки уплаты долга, в то время когда неприязнь Герцена к Некрасову, вызванная обстоятельствами «огаревского дела», достигала апогея (п. 301, 306, 309). Это и вызывающий ряд сомнений в своей подлинности, однако включенный в раздел «Dubia» отрывок письма к А. Я. Панаевой, в котором вновь идет речь об «ужасном деле по продаже

имения Огарева» (п. 319а), и, наконец, четыре (!) наброска письма к М. Е. Салтыкову конца апреля—начала мая 1869 г., где Некрасов вновь и вновь возвращался к событиям 1846—1847 гг., уязвленный утверждением Тургенева в «Воспоминаниях о Белинском» (опубликованных в «Вестнике Европы»), что тот «был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него». Вероятно, это письмо так и не было отправлено адресату, а потребность в исповеди осталась неудовлетворенной. Лишь незадолго до смерти, понимая, что написать воспоминания он уже не успеет, слабеющий Некрасов пытался то урывками записывать, то понемногу диктовать рассказы о своей молодости; коснулся он и совместной работы с Белинским, но до положения критика в обновленном «Современнике» так и не дошел — возможно, хранившиеся у него наброски письма Салтыкову восполняли пробел и могли рассматриваться как уже существующий мемуарный, исповедальный текст.

Одиночество Некрасова, в котором он оказывается с начала 1860-х годов (не исключавшее, разумеется, родственных и приятельских отношений), было вызвано рядом обстоятельств: идейными разногласиями с прежними друзьями* утратами, двойственностью своего общественного положения (с одной стороны, состоятельный человек, обладавший обширными связями в верхах общества, с другой — журналист-демократ), наконец, особенностями душевного склада. 21 февраля 1874 г. поэт писал В. Р. Зотову: «... в последнее время, кроме грубых (и безапелляционных) ругательств в печати, ничего не слышу! Да и во все 34 года не много слышал я добрых слов; люди, у которых, может быть, и нашлось бы для меня доброе слово, большею частью были моими товарищами по журнальной работе, и это обрекало их на молчание обо мне...»

Однако одиночество вело не к опустошению, а к духовному сосредоточению. Самой важной формой общения оказывалась связь поэта с читателями. Правда, обратная связь могла казаться ослабленной, малоощутимой. И только в январе 1877 г., после публикации «Последних песен» в «Отечественных записках», начинается нарастающее движение писем и телеграмм от читателей со словами сочувствия и благодарности.

Незадолго до смерти, в апреле 1877 г., Некрасов обратил вдруг внимание на залежавшееся почти год и оставленное без ответа письмо сельской учительницы А. Т. Малоземовой от 19 мая 1876 г., в котором она писала о себе как о «вполне счастливом человеке», потому что отдала свою жизнь воспитанию в учениках «сознания человеческого достоинства». «Я чувствую себя нравственной силой, — писала она. — (...) Я уже стара и очень некрасива, но очень счастлива. (...) В прошлом моем много горя, но я считаю его благом — счастьем, оно выучило меня жить, и без него я не знала бы наслаждения в жизни». [3] Поэту писала героиня его незавершенной поэмы о народном счастье. И подобно тому как двумя десятками лет ранее, весной 1857 г., получив задержавшееся в пути на полгода письмо Толстого, он поспешил ответить ему, чтобы состоялось наконец желанное духовное сближение, теперь, изнуренный болезнью, он ответил этой незнакомой, уверенной в своем счастье женщине коротким сдержанным письмом 2 апреля 1877 г. Он не умилялся рассказанным ею, не восхищался ее жизненным подвигом — он сообщал ей, что ее «счастье» «составило бы предмет продолжения» его поэмы, которой «не суждено окончиться»; он поблагодарил ее за «прелестное письмо» и пожелал, чтобы ее и учеников «миновала и далее судьба, как это, по-видимому, шло пока». И проза его вновь по концентрации мысли и чувства приблизилась к поэзии. В немногих словах было сказано очень многое. В центре внимания умирающего поэта опять оказались важнейшие для его творчества темы: выбор жизненного пути, судьба и счастье.

Странники-правдоискатели некрасовской эпопеи «Кому на Руси жить хорошо» отправляются в путь, чтобы узнать, «кому живется счастливо, вольготно на Руси», и почти сразу же, начиная с собственной округи, они начинают искать «счастливых», уделяя основное внимание своей, крестьянской среде (при этом их мало интересуют самодовольные, стремящиеся лишь к собственному благополучию люди). Однако встречаются им не те, кто достиг довольства, удовлетворенные, успокоенные, а в лучшем случае такие «счастливицы», к кому судьба однажды оказалась благосклонной, кого она в какой-то опасный (может быть, даже грозящий гибелью) момент пощадила, но чье «счастье» тем не менее может оказаться непрочным, переменчивым. [4]

Из всех героев поэмы самый счастливый миг выпадает на долю юного Гриши Добросклонова (путь этого образа к читателю был уже прегражден цензурой), который «лет пятнадцати»

(...) твердо знал уже,
Кому отдаст всю жизнь свою
и за кого умрет, —

и который избрал путь служения народу, пробуждения в нем «сознания человеческого достоинства», обрекавший его самого на страдания и раннюю смерть. Некрасов желал в письме «счастья-удачи» человеку, идущему тернистым и небезопасным путем, сознавая, что «счастья», понимаемого как «покой и довольство», на этом пути обрести невозможно. Но он и сам выбрал путь деятельной любви, о которой писал Толстому, — путь, наиболее полно отразившийся в его поэзии и отчасти в письмах.^[5]

А. М. Березкин.

Примечания

[1] О русской эпистолярной культуре и приближении писательского письма к литературному творчеству см., в частности: Тынянов Ю. Н. Литературный факт. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 265—266; Степанов Н. Л. Дружеское письмо начала XIX века. — В кн.: Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. М., 1966, с. 66—90; Тодд III. У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994; Алексеев М. П. Письма И. С. Тургенева. — В кн.: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти т. Письма в 18-ти т. 2-е изд., испр. и доп. Т. I. М., 1982, с. 9—14.

[2] Переписка Н. А. Некрасова: В 2-х т. Т. 1. М., 1987, с. 197, 211.

[3] Евгеньев В. Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов. М., 1914, с. 187—189.

[4] Ср. основанное на народной речи и фольклоре толкование слова «счастье» (сближенного прежде всего со словами «рок», «судьба», «участь», «доля») в словаре В. И. Даля: во-первых, «случайность, желанная неожиданность, талант, удача, успех, спорина в деле, не по расчету» и, лишь во-вторых, «благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и довольство» (Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV. М., 1980, с. 371).

[5] О переписке Некрасова см. также: Евгеньев-Максимов В. Е. 1) Н. А. Некрасов в его переписке. — В кн.: Некрасов. Собрание сочинений в 5-ти т. Т. V. М.—Л., 1930, с. 7—37; 2) Эпистолярное наследие Н. А. Некрасова. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Серия филолог, наук, вып. 4, 1939, с. 221—247; Краснов Г. Переписка Н. А. Некрасова. — В кн.: Переписка Н. А. Некрасова: В 2-х т. Т. 1. М., 1987, с. 5—21.